

А. И. Куприн

С улицы

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

А. И. Куприн

С улицы / А. И. Куприн – М.: Книга по Требованию, 2011. – 36 с.

ISBN 978-5-458-04163-8

Александр Иванович Куприн родился 7 сентября 1870 года в городе Наровчат Пензенской губернии. Учился сначала в кадетском корпусе, а затем в Александровском училище. В 1890 был зачислен в пехотный полк, в котором прослужил 4 года. Выйдя в отставку, поселился в Киеве, позднее переехал в Петербург. Первый свой рассказ "Последний дебют" Куприн опубликовал в 1889 году в "Русском сатирическом листке". Позднее он сотрудничал с газетами "Жизнь и искусство" и "Киевское слово". Приехав в Петербург, Куприн становится редактором сначала "Журнала для всех", а позднее "Мира Божьего". В Петербурге писатель публикует свои наиболее известные вещи: "Поединок", "Гранатовый браслет". Повести "Молох" и "Олеся" вышли в Киеве. В 1919 году Куприн эмигрировал в Париж. Там вышел в свет роман "Жаннета", была написана повесть "Юнкера". В 1937 году Куприн вернулся на родину и 25 августа 1938 года умер.

ISBN 978-5-458-04163-8

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Александр Иванович
Куприн
С улицы

I

Да, совершенно верно. Это вы совершенно правильно определили, господин... извините, не имею высокой чести знать ваше имя, отчество... Главная причина, отчего я погиб и теперь так низко пресмыкаюсь, – это слабость моего характера. Так и присяжный поверенный объяснял на суде, когда меня судили. «Перед вами, господа присяжные заседатели, яркий пример физического и нравственного вырождения на почве наследственного алкоголизма, плохого питания, истощения и дурных болезней». Перед этим меня трое профессоров осматривали, и они то же самое сказали в один голос. Я тогда же эти слова занес себе в записную книжку. Потому что, должен признаться: я хоть и потерял облик и подобие интеллигентного человека, но люблю людей с образованием и уважаю науку.

Поглядев на меня, вы ведь, конечно, не скажете, что сей самый, сидящий перед вами субъект тоже в свое время стоял на хорошей дороге и мог сделать себе имя и карьеру. Но это поистине так. Выражусь символически. Тут есть на Пересыпи один трактирчик, под названием «Ягодка», с правом крепких напитков, самый – извините – вертеп. И в этом трактире висят за буфетом две картины, вроде как бы указание или напоминание, если кто еще в трезвом виде. На одной изображен некий оборванный мужчина, скажем, вроде меня; спит в грязи под забором, и тут же рядом хрюкает свинья. И подписано: «Мог бы быть человек» с восклицательным знаком. А на другой картине написано: «Покупал за наличные, – покупал в кредит», и нарисованы два индивидуума. Один худой, обдерганный, штаны снизу собачки обкусали, схватил себя за голову, и глаза у него наружу вылезли – это который в кредит. А другой сидит к нему задом, этакий, знаете, толстый буржуй с бакенбардами, развалился с сигарой и смеется, а перед ним касса, и вся набита золотыми столбиками. Картины эти – лубочные, дешевка, и я сам по торговой части никогда не занимался, но внимания заслуживают. Потому что это вроде намек на мою собственную жизнь. Ха-ха! Буфетчиком там Вукол Наумыч. Жестокий старик. Я ему раз говорю: "Ты бы, Вукол Наумов, заказал бы еще и третью картину нарисовать. Как будто бы этот общипанный схватил этого самого банкира одной рукой за манишку, а другой рукой нырнул в несгораемую кассу. А внизу подпись: «И что из этого вышло». Но конечно, буфетчик шуток не понимает. Я ему сказал просто для аллегории, а он хотел городского кричать. Что как будто бы я его самого угрожал таким способом. Известно – хам.

Про третью картину, то есть это про мою фантазию, я вам, милостивый мой государь, не напрасно сделал пример. Потому что я сам однажды попробовал такой практикой заняться, и через это вычеркнут из списка жизни. Слава еще богу, что коронный суд, с участием присяжных заседателей, признал меня в состоянии невменяемости и отпустил на свободу. А то пришлось бы мне идти добывать «медь и золото» в местах столь отдаленных.

Если уж к этому подошло, то, пожалуйста, я лучше все по порядку. Вы меня извините, господин, но по вашей внешности и по разговору я всего скорее заключу, что вы, должно быть, сотрудник. Ну, что ж, может быть, моя автобиография пригодится вам для воскресного фельетона или для популярно-научной статьи. Я с удовольствием. Например, озаглавьте: «К вопросу о том, как некоторые личности бестолково устраивают свою жизнь». Или, еще лучше – просто: «Исповедь преступного типа». Можно, кстати, вас разорить еще на парочку? Только уж пожалуйста спросить обыкновенного, за восемь копеек. Оно по крайности без глицерину. Эй, псст! чижик!.. Пару пива. Чего ты смотришь, дурак, как козел на новые ворота? Это барин угощают. Не видишь, кому служишь, болван?

Не доверяет, холуй. Правда, я здесь как-то однажды большой тарарам наделал. Ну, кроме того, и экипировка моя. Знаете, как в «Гранд-отеле» одна шансонетка поет:

Арри-ги-налиный мой костюм,
Блестящий мо-ой наряд,
Тара-тара, тири-тири...

Слушаю-с, господин буфетчик. Виноват, сам знаю, в таком месте и вдруг – куплеты. Не буду больше, молчу. Да. Так вот. Вы меня извините, пожалуйста, господин. Если по-настоящему рассуждать, то я с вами и в одной комнате быть недостойн. Кто вы – и кто я! Но вы чувствуете сострадание к человеку, убитому судьбой, и даже не побрезговали посадить с собой рядом. Пожалуйста, я вам за это ручку поцелую. Ну, ну, ну, не буду... Не сердитесь, извините.

Да. Так вот. Давеча я вам назвался бывшим студентом, но это все неправда. Просто увидел, что вы – человек интеллигентный, и думаю: он всего скорее клонет на студента. И стрельнул. Но вы обошлись со мной по-благородному, и потому я с вами буду совершенно откровенно... Был я в университете только один раз в жизни, и то на археологическом съезде, когда служил репортером в газете. Был, не утаю, сильно намочившись, и что там такое бормотали, ничего не понял. О каких-то каменных бабах какого-то периода...

Однако пожалуйста вам заметить, я все-таки не без образования.

Помилуйте, до сих пор помню: Алкивиад был богат и знатен, природа щедро наделила его умственными способностями... и там еще про собаку, как он ей отрубил хвост... исключения на is и все такое прочее...

Отец мой был обойщик и драпировщик, имел собственную мастерскую в Кудрине, в Москве. А мать я плохо помню. Помню только, что была она женщина толстая и с одним глазом, а другим все как будто подмигивала кому-то. Помню еще, но это уж точно во сне, как ее при мне обнимал наш старший мастер Шикунев и говорил: «Ничего. Андрюшка маленький, он ничего не понимает, вот мы ему копейку дадим...» Пили они, должно быть, шибко, мой папаша с мамашей, – всегда от них вином пахло, – и лупили меня чем попало, как говорится: палкой, скалкой, трепалкой. Воспитанием моим неглизировали ¹, и рос я, как сорная трава, на улице и на дворе. Настоящим же моим воспитателем был наш мальчик-подмастерье; его звали Юшка.

Должен я вам сказать, видал я в моей жизни множество самых разных фигур. Достаточно того одного, что сидел в тюрьме. Но вот, ей-богу, такого безобразника и бесстыдника, как он, я ни разу не встречал. Чему он нас, мальчишек, учил, что заставлял нас делать там, за каретным сараем, между дровами, я вам даже не смею сказать – совестно. Ей-богу. А ведь был он сам почти ребенок...

Это еще пустяки, что курили, пили водку, играли в орлянку и в карты – налево, направо – и что я таскал у отца потихоньку деньги. Отец и сам по праздникам, когда у нас бывали гости, забавлялся тем, что накачивал меня допьяна и заставлял плясать... С Юшкой хуже бывало. Одиннадцати лет узнал я женщину; это было опять-таки на задворках, под руководством того же самого Юшки. Удивительно, право! Этот человек совсем исчез с моего горизонта, и я не знаю, где он: на каторге или его убили где-нибудь, как собаку... Но никто никогда не имел на меня такого адского влияния. Боялся я его до чрезвычайности. Поверите ли: даже теперь иногда вижу его во сне, будто он меня дубасит, и от страха просыпаюсь... За ваше здоровье! А вы сами? Нет? Ну, как изволите. Хорошо! Холодное.

Однако я тем временем порос. Не знаю уж, какой чудотворец пропихнул меня в гимназию, в приготовительный класс. Думаю, что не обошлось здесь без барашка в бумажке, – сунули, должно быть, кому следует. Вот тут-то и началось хождение моей грешной души по мытарствам. В три года я, кажется, во всех учебных заведениях перебивал, в классических и реальных. Где учителю жеванной бумаги в карман насовал, где попался пьяным на улице. В одном месте

у товарища украл коллекцию перышек... е цетера, е цетера ², в том же роде.

Приду, бывало, домой – отец сразу по глазам видит. «Вышибли?» Я молчу. «Ах ты с... сын! Вот погоди, отдам я тебя в сапожники, тогда взоешь. Ступай принеси веревку».

Наконец больше поступать стало некуда. Осталась всего только одна частная гимназия Хацимовского. Может быть, слышали? Замечательнейшее было, доложу вам, учреждение, одним словом – замок чудес и волшебств. Какой-нибудь купеческий оболтус до пятнадцати лет голубей гонял, папу-маму без ошибки написать не может, а, глядишь, от Хацимовского лет через пять вышел с аттестатом зрелости. Это правда: сидели там в последних классах очень зрелые мужики, годов по двадцати пяти, – бородатые, почтенные люди. Про одного такого эфиопа рассказывали, что он в гимназию вместе с сыном ходил. Сын в приготовительный, а он в седьмой. И обоим им дома делали на завтрак бутерброды.

Помещали туда больше купеческих сыновей и дворянчиков – все исключительно тех, которых отовсюду уже вышвырнули. Деньги брали за учение солидные. И было это заведение вроде зверинца: архаровцы, скандалисты, обломы; все как на подбор – самые развращенные мальчишки. На учителях верхом ездили. Ну, уж и учителя у нас были! Та-акие гуси!..

У Хацимовского я окончательный лоск получил. Но и оттуда меня в скором времени – фить! За что? Да за разное. Длинная история. Началось это с того, что отобрал у меня надзиратель альбом этаких, знаете, карточек со стихотворными пояснениями моей собственной музыки, ну и так далее... Что вспоминать! Пассон³, как говорят французы.

Пришел я домой. Отец опять было за веревку, но увидел, что я сильнее его стал, и осекся, – стоп! Рассердился очень.

– Одна, – говорит, – тебе дорога осталась, орясина ты непутевая. Ступай в солдаты!

Поступил я вольноопределяющимся. Четыре года подряд держал экзамен в юнкерское училище, никак не мог одолеть бездны премудрости. Наконец надоела, должно быть, моя физиономия экзаменаторам, – пропустили.

Да из училища в полк обратно отчисляли три раза за всякие хужества. Из училища был выпущен подпрапорщиком, протрубил в этом кислом звании два года и был произведен в офицеры.

II

Ну, о том, что я в офицерских чинах выкомаривал, не буду распространяться. Подробности письмом. Скажу коротко: пил, буянил, писал векселя, танцевал кадрили в публичных домах, бил жидов, сидел на гауптвахте. Но одно скажу: вот вам честное мое благородное слово – в картах всегда бывал корректен. А выкинули меня все-таки из-за карт. Впрочем, настоящая-то причина была, пожалуй, и похуже. Эх, не следовало бы. Ну, да все едино – расскажу.

Была у меня в полку любовница, жена одного офицера. Знаете: глушь, скверный южный городишко, тоска, грязь – только и было у нас у всех развлечения: служба – солдат по мордасам шелкать, да водка, да еще карты, да еще эти самые романы. И так мы усердно романсовали, что все, как есть, приходились родственниками друг другу. И никто в этом не видел ничего особенного. Так все и знали: такой-то живет с такою-то, а ее мужа застали с такой-то, а с ней живет поручик Иванов, а раньше поручик Иванов жил... словом – маседуан.

Звали ее Марьей Николаевной. Была она тоненькая, хрупкая, лицо, как у печального ангела, – худенькое, нежненькое, ротик маленький, розовый, блондинка, глаза большущие, светлые, голубые. Образованная. Кончила институт с медалью, играла наизусть госпо-дина Шопена, хорошей дворянской фамилии была и со средствами. Много у нас вокруг нее народу вертелось, как тетеревей на току, но – никому ничего. А я, знаете, подошел и взял ее наглостью, да еще так нечаянно вышло это, что я и сам не ожидал. Двое детей у нее было, две девочки.

Делал я на пасху визиты. Собственно говоря, визиты – это просто был предлог для сугубого пьянства. Наймешь на целый день фэзтон и жарышь из одного дома в другой. Приедешь куда-нибудь, а там целый стол выпивки и закуски: барашки эти самые из сливочного масла, мазурки, бабы с розанами, ветчина в бумажных завитках, терновки, зубровки, сливовица. Трах, трах, рюмок пять-шесть хлопнул, наврал-наврал и поехал к следующим знакомым. «Ах, что вы, мы ни с кем не целуемся!» – «Нет, па-азвольте-с, какие же вы, барышни, после этого христианки? Не-ет. Даже и в Священном писании поется: друг друга обьемем, рцем»... и так далее. Програма известная.

Приехал я к Марье Николаевне уже под вечер. Сижу – и ничего не соображаю, что ем, что пью, что болтаю. Муж ее, подполковник,

рядом храпит в спальне, тоже с визитов вернулся. Время такое серенькое было, не то день, не то вечер, на дворе дождик, скука, часы стучат, разговор не клеится. Тоска на меня нашла. Стал я Марья Николаевна про свое детство рассказывать, про Юшку, про отца, про веревку, про то, как меня из гимназии гоняли. И заплакал. И ведь как человек бывает подл, послушайте. Сам плачу, сморкаюсь, слезы у меня и из глаз и из носу текут, трясусь весь, рассказываю красивой образованной даме самые грязные ужасы – уж, кажется, всю душу вывернул наизнанку! А ведь нет, – себя-то я все-таки в привлекательном виде выставил: что, мол, никем я не понятая, этакая возвышенная хреновина, вроде, что ли, Евгения Онегина; тяжелое детство, ожесточенная душа, ласки никогда не видел – чего я тут только не намотал. Гляжу, а она тоже плачет. Склонила, знаете, голову набок, руки на коленях сложила, глаза огромные стали, светлые, а слезы по щекам бегут быстро, быстро, быстро. Тут и подхватило меня. Слышу я, что муж рядом храпит, кинулся к ней и точно первый любовник в театре: «О! неужели ты можешь плакать? О ко-ом? Обо мне? О, эти святые слезы! Чем я искуплю их?» И уже мну ее руками. Не сопротивлялась она, ни одного слова не сказала – отдалась мне, как овечка. И лицо у нее все мокрое от слез было.

Узнал я тогда, что это за штука – власть над человеком. Сделалась Марья Николаевна с того вечера моей рабой. В буквальном смысле. Что хотел – то с ней и делал. И она мне потом часто сама говорила: «Да, я знаю, что ты негодяй; ты – грязный человек, ты развратник, ты, кроме того, еще маленький-маленький, подленький человечешка, ты алкоголик, ты изменяешь мне с самыми низкими тварями; ты всякой мало-мальски себя уважающей женщине должен быть омерзителен и физически и нравственно... и все-таки я люблю тебя. Я твоя раба, твоя собственность, твоя вещь. Если ты убьешь кого-нибудь, ограбишь, изнасилуешь ребенка, – от тебя ведь всего можно ожидать, – я все-таки не перестану тебя любить всю мою жизнь. Ты – моя болезнь».

Подобные акафисты она мне нередко читала, а также писала в письмах, и я эти слова запомнил хорошо... И отчего это, скажите мне, – вот вы человек, видимо, образованный и начитанный, – отчего это так часто умные, милые, прекрасные женщины любят различных прохвостов? От противоположности, может быть? Ведь сколько, сколько я таких случаев видел в своей жизни. Вы думаете, она была какая-нибудь особенно страстная, Марья Николаевна? О, ничуть. Уступала всегда только моим настояниям, а то относилась ко мне, как мать. Не так, как моя родная мамашенька, которая меня произ-

вела на свет, а по-настоящему: кротко, терпеливо, нежно, заботливо...

Да. Я говорил сейчас про власть, и, можете себе представить, стала мне Марья Николаевна до того противна, что и сказать нельзя. Измывался я над ней зверским образом: гнал ее от себя, когда приходила; назначал свидания и раз по пяти не являлся; письма ее – милые, ласковые, добрые письма – на диване, на полу у меня по неделям валялись нераспечатанными. Деньги я тянул у нес постоянно, на кутеж, на игру, а то и на женщин брал. И знаете, что я вам скажу? Философская мысль. Никакое зло на сем свете не пропадает. Если ты еще мальчишкой у жука крылья оторвал, то и это тебе зачтется и приложится. Господь бог нам всем, у себя наверху, двойную итальянскую бухгалтерию ведет: приход и расход – все у него разнесено по графам. Впрочем, по Дарвину, бога нет. Ну, тогда – судьба, это все равно. И я твердо уверен, что если меня впоследствии, ух, как здорово по затылку стукало, то это за нее, за Марью Николаевну. Оборвал я ей крылышки, погубил ее, затоптал, загрязнил ее душу, и все это делал без пощады, и ее самое ненавидел до дрожи, до бешенства!..

Раз собралась у меня холостая компания. Пили, играли, пели, потом опять пили и опять играли. Я проферпшилился дотла. Посылал дважды денщика к Марье Николаевне за подкреплением и опять прогорал. Помню, во второй раз она мне прислала записку: "Дорогой мой, постарайтесь воздержаться от таких поступков, в которых завтра будете сами раскаиваться. И что бы ни случилось, помните, что у вас есть друг, который все для вас готов сделать". Я это письмо в снях, когда принимал от денщика деньги, разорвал на мелкие кусочки и швырнул на пол.

Поручик Парфененко забрал все деньги, какие у нас у всех были в сложности, и вдруг заболел животом и убежал домой, потому что не хотел на мелок играть. А мы опять пить. Шли уже вторые сутки, без просыпу. Вот мы разговорились о наших дамах. У той ноги длинные, это хорошо, но зато худые очень: в платье красиво, а разденешь – швах. У этой родинка на пояснице. У другой словечки есть такие особенные, излюбленные, в тайные минуточки-то. Третья вот так-то целуется. Одним словом, всех разобрали до последней жилочки. Что нам стесняться в родном отечестве? Вал-ляй!

Стали про мою спрашивать. А я в пьяном задоре и ляпни: да хотите, только свистну, и она, как собачка, сюда прибежит и все вам сама покажет? Усомнились. Я сейчас же, моментально, с денщиком записку: «Так и так, дорогая Мари, приходите немедленно, иначе

никогда меня больше не увидите. И чтобы вы не думали, что это шутка или праздная угроза, то, как только приедет ваш муж, в тот же день все ему открою»... и слово «все» три раза подчеркнул.

Что вы думаете? Прибежала. Бледная, запыхалась, еле на ногах держится. Вошла и стала в дверях, оперлась о косяк, губы синие, как у трупа, зубы стучат. «Здравствуйте, Андрей Михайлович! Шла мимо, вижу, свет, думаю, не у вас ли муж? Боялась, как бы вы его в карты не засадили. Вы ведь такой совратитель». Словом, невесть что бормочет, точно в бреду; ведь всему полку известно, что муж ее поехал в округ принимать боевые патроны! Говорит и сама старается улыбаться, а глаза – огромные, синие – глядят на меня с ужасом. Ух, ненависть меня взяла на нее. «Раздевайся», – говорю. Сняла она тальму – руки так и ходят, точно у пьяницы. Поняла ведь она, поняла с первой же секунды, чего я от нее хочу. Сняла тальму. А я кричу: «Дальше раздевайся, снимай лиф, юбку долой!» Она и не моргнула даже, глаз от меня отвести не могла. Взялась за верхнюю пуговицу – расстегнула, стала вторую нащупывать, да сразу-то не найдет, пальцы прыгают. И ни слова, ни звука. Ну, тут товарищи вступились. Были они все пьяные, озверелые, красные, опухшие, но их эта пантомима уязвила. До того уязвила, что, когда она ушла, – мы глядим, – подпоручик Баканов в обмороке лежит. Был он совсем зеленый мальчик, застенчивый, вежливый такой, приличнейший, хоть и пил крепко. Обещались они – и ей и мне – все сохранить в тайне, но где же удержаться. Сделалась история известна всему полку, и чаша моих злодеяний, выражаясь высоким штилем, переполнилась. Стали все на меня глядеть этаким басом, вижу – руку избегают подавать, а кто и подаст, так глазами шнырит по бокам, точно виноватый. Открыто не решались мне ничего сказать, потому что жалели Марию Николаевну. Как-то сразу тогда догадались, что здесь не романец, не пустая связушка от скуки, а что-то нелепое, огромное, большое – какая-то не то психология, не то психиатрия. И мужа ее жалели. Был он заслуженный шипкинский подполковник и пребывал и, кажется, до сих пор пребывает в сладком неведении.

И все ждали случая.

Как-то играли в собрании в ландскнехт. Игра – официально недозволенная в офицерском клубе, но на это смотрели – вот так! Подошел и я. Везло мне зверски в этот вечер, просто до глупости везло, но сердце у меня было какое-то тревожное, невеселое. И еще вот что странно: встретился я в передней с подпоручиком Бакановым, не поздоровались мы даже с ним, а только так, мельком взглянули друг на друга, но отчего-то сделалось мне вдруг как-то